

РОКСОЛАНА

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ВЕКА



РАБЫНЯ ~ ТАЙНЫ ГАРЕМА ~ ЛЮБОВЬ СУЛЕЙМАНА
СЛАВЯНКА НА ТУРЕЦКОМ ТРОНЕ ~ РАСЦВЕТ ТУРЕЦКОЙ ИМПЕРИИ
ПОЛИТИК И МЕЦЕНАТ ~ РОЛЬ В ИСТОРИИ

Павел ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Роксолана

Павел Загребельный

**Роксолана. Страсть
Сулеймана Великолепного**

«Издательство АСТ»

1980

Загребельный П. А.

Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного /
П. А. Загребельный — «Издательство АСТ», 1980 — (Роксолана)

ISBN 978-5-17-080195-4

Перед вами один из лучших романов о великолепном веке расцвета Османской империи, о Роксолане, украинской девушке и первой рабыне, которая смогла стать официальной женой султана Сулеймана Великолепного. В книге рассказывается о самых ярких, интересных и драматичных годах жизни гарема, о женщине, которую многие историки представляют властной, жестокой и коварной обольстительницей!

ISBN 978-5-17-080195-4

© Загребельный П. А., 1980
© Издательство АСТ, 1980

Содержание

Книга вторая	5
Кровь	5
Барабаны	14
Пятерица	15
Столпы	20
Руины	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Павел Загребельный

Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного

Сулейман I Великолепный (6 ноября 1494 – 5/6 сентября 1566) – десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года, при нем Османская Порта достигла апогея своего развития.

Четвертой наложницей и первой законной женой Сулеймана Великолепного стала Анастасия (в других источниках – Александра) Лисовская, которую называли Хюррем Султан, а в Европе знали как Роксолану. По традиции, заложенной востоковедом Хаммер-Пуршиталем, считается, что Настя (Александра) Лисовская была полькой из городка Рогатин (ныне Западная Украина).

Обольстительная красавица Роксолана подарила султану пятерых детей.

Книга вторая Страсти

Кровь

От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждое из них как бы хранило в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже янычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам, не стали бить зеркал, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета, потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла.

Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима. Уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и Гасан-ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его Гасанов и узнал: на только что прибывшем венецианском барке привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом барке приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити прославленный художник Вечеллио с несколькими своими учениками. Дождь прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало.

Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан-ага немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских улаков доносчиков. Он переслал Роксолане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять с барка зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в кьёшк Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. О художнике Роксолана не

упоминала, не интересовалась и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало, но Гасан-ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом.

Зеркало было роскошное. Огромное, на полстены, в тяжелой золоченой раме, вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир и принесут ли?

Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции.

– Я уже знаю. Это Луиджи Грити попросил своего отца. Хотел, чтобы было как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Грити оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша.

– Вы снова пойдете в поход, мой падишах? Ради какого-то мертвого купца-иноверца?

– Он был моим другом.

– Кажется, он был еще большим другом Ибрагима.

– Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным.

– Снова наказания и снова кровь? Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей?

– Это кровь неверных.

– Но все равно она красная. Людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле! Целые моря. А все мало? Только и мыслей – как пролить еще больше? Ваше величество, не оставьте меня одну в Стамбуле! Приостановите свой поход. Возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас, как нарисовал когда-то Фатиха его предшественник.

– Обычай запрещает изображать живые существа, – напомнил султан.

– Измените обычай, мой повелитель! Запрещать живое – не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни?

– Чего стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? – торжественно промолвил Сулейман. – Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран.

Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство, а он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хасеки, глаза такого непостижимого и недостижимого цвета, как и ее сердце.

– Прими этого живописца, – милостиво улыбнулся он, – для него это будет невероятно высокая честь.

– Он рисовал римского папу, императора, королей.

– Но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей.

Роксолана засмеялась.

– Мой султан, эта почтенность меня просто убивает! Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей.

Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения.

– И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая Хуррем. Почему бы ей теперь не смеяться и не петь? Нет ни преград, ни запретов.

– А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть, ибо как же иначе устранишь их? Радостью одолеть все злое.

– Я хочу, чтобы у тебя всегда была радость. Чтобы ты воспринимала радость как дар аллаха. И никто не смеет встать у тебя на пути. Ты должна принять венецианского живописца, может, тебе стоит принять и посла Пресветлой Республики, пусть увидят, в каком счастье и богатстве ты живешь.

– Баилы пишут об этом уже десять лет. Сколько же их сюда присылала Венеция. И все они одинаковы. Живут сплетнями, как женщины в гареме.

– Ты принадлежишь отныне к миру мужскому, – самодовольно заметил Сулейман.

– Слабое утешение, – горько улыбнулась Роксолана. – В этом суровом мире нет счастья, есть только пустые слова: слава, богатство, положение, власть.

Он нахмурился:

– А величие?

Она вспомнила слова: «И он упал, и падение его было великим», но промолчала. Только удивилась, что султан забыл сослаться на спасительный Коран, как это делал каждый раз.

– Вспомни, как мы принимали польского посла, – сказал Сулейман, – и как он был поражен, увидев тебя рядом со мною на троне, а еще больше когда ты обратилась к нему по-латыни и по-польски.

Роксолана засмеялась, вспомнив, как был обескуражен пан Опалинский.

– Я передал польскому королю письмо, где было сказано: «В каком счастье видел твой посол Опалинский твою сестру, а мою жену, пусть сам тебе скажет...»

– Нет пределов моей благодарности, – прошептала Роксолана.

– И моей любви к тебе, – тихо промолвил султан, – каждое воспоминание о тебе светится для меня в кромешной тьме, будто золотая заря. Я пришлю тебе свои стихи об этом.

– Это будет бесценный подарок, – ответила она шепотом, будто окутала шелком.

Прежде чем встретиться с венецианцем, Роксолана позвала к себе Гасана. Несмотря на свое видимое могущество, у нее не было другого места для таких встреч, кроме покоев Фатиха в Большом дворце, очень тесных среди этой роскоши, а теперь еще и запятнанных зловещей славой после той ночи таинственного убийства Ибрагима, которое свершилось здесь. Правда, было в этих покоях и то, что привлекало Роксолану, как бы возвращая ее в навеки утраченный мир. Рисунки Джентиле Беллини на стенах. Контуры далеких городов, фигуры людей, пестрая одежда, голые тела, невинность и греховность, роскошь и суета. В рисунках венецианского художника нашла отражение вся человеческая жизнь с ее долей и недолей. Чудо рождения, первый взгляд на мир, первый крик и первый шаг, робость и дерзость, радость и отчаяние, уныние будничности и шепоты восторга, а затем внезапно наступившее горе, падение, почти гибель, и все начинается заново, ты хочешь снова прийти на свет, который тебя жестоко отбросил, но не просто прийти, а победить, одолеть, покорить, добиться господства; теперь преграды уже не мелкие и никчемные, ты бросаешь вызов самой судьбе, судьба покорно стелется к твоим ногам, возносит тебя к вершинам, к небесам, – и все лишь для того, чтобы с высоты увидела ты юдоли скорби и темные бездны неминуемой гибели, которая суждена тебе с момента рождения, услышала проклятия, которые темным хором окружают каждый твой поступок. И восторг твой, выходит, не настоящий, а мнимый, и мир, которым ты овладела, при всей его видимой пестроте, на самом деле серый и невыразительный, и вокруг тьма, западни и вечная безысходность. Как сказано: «Где бы вы ни были, достигнет вас смерть, если бы вы даже были в воздвигнутых башнях».

Но это было в дни, когда она еще задыхалась от отчаяния, когда безнадежное одиночество и сиротство терзали ее душу, и она лихорадочно всматривалась в эти рисунки, будто в собственную судьбу, и, возможно, видела в них даже то, чего там не было, и только ее болезненная фантазия населяла этот разноцветный мир беззаботного венецианца химерами и ужасами.

Теперь проходила мимо них, не поворачивая головы. Могла разрешить себе такую роскошь невнимания, величавой скуки, уже не было пугливо раскрытых глаз – нависали над ними

отяжелевшие веки, жемчужно твердые веки султанши над ее глазами. Ничто для нее не представляет никакой ценности, кроме самой жизни.

Сидела на шелковом диванчике, поджав под себя ноги, с небрежной изысканностью окутавшись широким ярким одеянием, терпеливо ждала, пока прислуга расставляла на восьмигранных столиках сладости и плоды, надменно следила, как нахально слоняются евнухи, на которых могла бы прикрикнуть, чтобы исчезли с глаз, хотя все равно знала, что они спрячутся вокруг покоев Фатиха, чтобы оберегать ее, следить, подсматривать, не доверять. Унизительная очевидность рабства, пусть даже и позолоченного. Гасана, как всегда, привел высоченный кизляр-ага, поклонился султанше до самой земли, не сводя с нее рабского взгляда, но из комнаты не уходил, торчал у дверей, хотя и знал, что будет с позором изгнан одним лишь взмахом пальчика Роксоланы. Но сегодня Роксолана была более милостива к боснийцу, подарив ему даже два слова.

– Иди прочь! – сказала ему ласково.

Ибрагим, кланяясь, попятился за дверь, чтобы притаиться там со всеми своими прислужниками, которых время от времени будет вталкивать в покои, чтобы те сновали там, напоминая ей о неутомимой слежке, о неволе в золотой клетке.

– Что в мире? – спросила Роксолана своего поверенного, кивая Гасану, чтобы сел и угощался султанскими лакомствами.

– Суеются смертные, – беззаботно промолвил Гасан.

– Это видно даже из гарема. Расскажи о том, чего я не вижу.

Пока не хотела говорить ни о каких делах, искала отдыха в беседе, играла голосом, прихотливостью, беззаботностью.

– Почему же ты молчишь? – удивилась, не услышав Гасановой речи.

Хотя он был самым близким для нее после султана (а может, еще более близким и родным!), но Гасан никогда не забывал, что она повелительница, а он только слуга, потому его молчание не столько удивило, сколько встревожило Роксолану.

– Гасан-ага, что с вами? Почему не отвечаете?

А он продолжал молчать и смотрел через ее плечо, смотрел упорно, немигающими глазами, встревоженно или взволнованно, смотрел, забыв о почтительности, дерзко, будто, как и прежде, оставался наглым янычаром, а не был самым надежным доверенным человеком этой повелительницы.

Проще всего было бы, проследив направление его взгляда, самой оглянуться, увидеть то, что встревожило Гасана, посмеяться над ним, пошутить. Но простые поступки уже не подошли Роксолане. Если бы она была Настасей, тогда... Но Настаси не было. Исчезла, улетела с птицами в теплые края, и не вернулась, и никогда не вернется. И матуся не вернется, и родной батюшка-отец, и отцовский дом на рогатинском холме: «Закричали янголи на небі, ізбудили батечка во гробі. Вставай, вставай, батечку, до суду, ведуть твое дитятко до шлюбу».

Оглянуться или не оглянуться? Нет! Сидела, словно окаменела, на губах царственная улыбка, а в душе ужас.

– Гасан!

– Ваше величество, – прошептал он, – кровь... На стене...

– Разве янычара поразишь кровью?

– Это кровь Ибрагима, ваше величество, – сказал Гасан.

– Боишься, что эта кровь упадет на меня? Но ведь сказано: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их...»

– Они нарочно посадили вас под этой стеной.

– Кто они?

Он совсем растерялся:

– Разве я знаю? Они все хотят взвалить на вас, ваше величество. И смерть валиде, и убийство Ибрагима, и смерть великого муфтия Кемаль-заде. Вы уже слышали о его смерти?

Она снова привела слова из Корана – неизвестно, всерьез или хотела прикрыться шуткой:

– «...чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности».

А сама слышала, как в душе что-то скулит жалобно и отвратительно. Все здесь в крови – руки, стены, сердца, мысли.

– Ибрагим должен был убить султана, султан его опередил, а теперь они хотят взвалить все на вас, ваше величество, – упорно продолжал Гасан-ага.

– Мне надоели гаремные сплетни.

– Даже смерть Грити...

– Еще и Грити? И этого тоже убила я?

– Они говорят, что на молдавский престол Рареша поставили вы, а уже Рареш...

– ...выдал венграм Грити, исполняя мою волю? Все только то и делают, что исполняют мою волю. И Петр Рареш точно так же. Этот байстриук Стефана Великого. Он прислал подарок для моей дочери Михримах, для султанской дочери! Драгоценную мелочь, на которую только и способен был один из многочисленных байстриуков великого господаря¹. А знает ли кто-нибудь, что этот господарь Стефан когда-то был в моем родном Рогатине с войском и ограбил церковь моего отца-батюшки? И мог бы кто-нибудь в этой земле сказать мне, где моя матуся, и где мой отец, и где мой дом, и где мое детство? И на чьих руках их кровь?

Гасан молчал. Он проникался ее мукой, напрягался, страдая душой, готов был взять на себя все отчаяние Роксоланы, всю ее скорбь – так хотел бы помочь ей чем-то. Но чем и как?

– Ваше величество, я со своими людьми делаю все, чтобы...

– Зачем? Мои руки чисты! Пойди и скажи об этом всем. Я сама скажу.

Она вскочила на ноги, заметалась по коврам. Гасан тоже мгновенно вскочил с места, прижался к стене – кажется, в полуоткрытой двери промелькнула тяжелая фигура кизляр-аги. Дохнуло кислым запахом евнухов, невидимых, но осязаемых и присутствующих. Роксолана отбежала от стены с пятнами Ибрагимовой крови, остановилась, смотрела на эти коричневые следы смерти ненавистного человека, ощущала, как призраки обступают ее со всех сторон, недвижимые, будто окаменелые символы корыстолюбия и несчастий: валиде с темными резными устами; два великих муфтия с постными лицами и глазами фанатиков; пышнотелая Гульфем, набитая глупостью даже после смерти; Грити, который и мертвыми руками гребет к себе драгоценные камни; Ибрагим, который, щеря острые зубы, ядовито шепчет ей: «А что ты сказала султану? Что ты сказала?» Тень падает на тебя, хотя ты и безвинна. Достигла величия – и теперь падает тень.

– Я нашел того, кто прислал из-за моря зеркало Ибрагиму, – неожиданно сказал Гасан-ага.

Простые слова помогли Роксолане стряхнуть с себя наваждение. Призраки отступили, кровавые пятна на рисунках Джентиле Беллини утратили свой зловещий вид, казались следом небрежности художника, случайным мазком сонной кисти, непостижимым капризом веселого, а то и хмельного венецианца.

– Зеркало? – Она с радостью ухватила за это спасение от призраков, терзавших ее и на вершине величия с еще большей яростью, чем в рабской униженности, которую познала в ту ночь, когда была приведена в султанский гарем. – Кто же этот благодетель?

Успокоившаяся, она возвратилась к своему шелковому диванчику, удобно расположилась, даже протянула руку, чтобы налить себе шербета из серебряного кувшина. Будто сойдя со стены, появилась неизвестно как и откуда служанка в прозрачной одежде, а за нею теньми

¹ Господарь – титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV–XIX вв.

подкрадывались евнухи и на самом деле казались бы теньями, если бы не было у них грязных, липких от сладостей пальцев, которые старались как можно скорее вытереть – один о шаровары, другой о тюрбан.

– Убирайтесь вон! – прикрикнула на них султанша.

Служанку удалила незаметным движением бровей, так, что даже Гасан-ага поразился ее умению.

– В том-то и дело, что он не является благодетелем, – сказал Гасан, отвечая на вопрос Роксоланы. – Это скорее любимец. Точно так же, как Ибрагим был душой и сердцем своего повелителя.

– Ты говоришь – был? Неужели его тоже нет, как и нашего грека? Мертвый послал зеркало мертвому, а я оказалась между ними. Велю убрать его из Гюльхане.

– Ваше величество, этот человек жив. И, кажется, плывет сюда, чтобы найти убежище, обещанное ему Ибрагимом.

– Объясни, – утомленно откинулась она на подушку.

– Его зовут Лоренцано. Он из рода Медичи, но не из тех, что обладают влиянием и властью в Италии, а из незнатных. Стал душой и сердцем флорентийского правителя Алессандро Медичи. Услышал, какой властью обладает Ибрагим над султаном, начал переписываться с греком, спрашивал советов, оказался способным учеником. Далее они уже состязались – кто достигнет большей власти над своим благодетелем. Потом стали следить, кто первым избавится от своего благодетеля, потому что любимцами становятся лишь для того, чтобы покончить – рано или поздно – с покровителями, устранить их и занять их место. На случай неудачи они договорились спасти друг друга. Когда же захватят власть, быть и дальше сообщниками во всем, пока не покорится им весь многолюдный мир – одному исламский, другому христианский.

– Говоришь страшное. Как мог узнать об этом?

– Ваше величество, письма. Я купил все письма, которые писал этот Лоренцано Ибрагиму. Грек не знал итальянского, давал читать своему драгоману, потом приказывал уничтожать письма. А тот продавал их великому драгоману Юнус-бегу, потому что Юнус-бег поклялся низвергнуть Ибрагима. Может, это он и открыл глаза султану. Теперь Ибрагим мертв, и Юнус-бег охотно продал мне письма. В последнем из них Лоренцано сообщает, что убил своего благодетеля во время охоты, но из Флоренции вынужден бежать, потому что власть захватить не сумел. Надеется на прибежище в Стамбуле. Еще не знает, что Ибрагим мертв.

– Где эти письма?

Он передал ей тоненький сверток в шелковом платочке.

– Так мало?

– Ваше величество, разве глубина подлости зависит от количества слов?

– Прими этого Лоренцано, и пусть живет здесь, сколько нужно.

– Его могут убить флорентийцы.

– Спрячь от них. А тех венецианцев, которые прибыли к Грити, приведи ко мне. Я приму художника. Где он живет? Во дворце Грити?

– Все имущество Грити забрало государство.

– А разве государство – это не я? Пусть откроют для художника дом Грити и обеспечат всем необходимым. Скажи, что это веление падишаха.

– Ваше величество, вы примете венецианца здесь?

– Нет у меня для этого другого места.

Гасан снова молча смотрел на стену за ее спиной.

– Боишься этой крови? Мертвых врагов не надо бояться. Их надо любить и всячески возвеличивать, ибо тогда наши победы над ними обретают большую цену. Пусть увидит этот заморский художник кровь. У жестокого султана султанша тоже должна быть жестокой!

– Ваше величество, зачем вы это делаете? Мир жесток, он не прощает ничего.

– А чем я должна платить этому миру? Смехом и песнями? Не довольно ли? Уже устала. Полетела бы туда, где родилась моя душа, но где крылья? Султан собирается в поход на молдавского господаря. Иди с ним. И дойди до Рогатина. Посмотри и расскажи. Ибо я уже туда попаду разве лишь мертвой или в молве. Султаншей не могу. Султанша ступает только по своей земле. А моя земля теперь там, где мои дети.

– Ваше величество, поверьте, что мое сердце разрывается от боли при этих словах.

– Ладно. Чересчур много слышишь от меня слов. Иди.

Пробыла в покоях Фатиха до наступления сумерек. Велела принести туда ужин. Ужин с ужасами и кровью. Содрогалась от непонятого предчувствия. Плакала, не скрывая слез. «Лишаю слідоньки по двору, а слізоньки по столу». Вслушивалась в голоса неведомые, незримые, таинственные, далекие, то едва ощутимые, словно шелест крови в жилах, то угрожающие, как кара небесная. Ждала отмщения за грехопадение, за чьи-то страдания, ибо ее страданий теперь уже никто не увидит – они исчезли, забылись, вокруг воцарились зависть и ненависть. И никому нет дела до ее болезненно обнаженной души, неведомые голоса, которые с яркой жестокостью добивались мести и кары, считали, будто по ее вине рушатся царства и по ее вине преступление расплзается по земле, заполняя просторы, огнем и кровью покаявая времена.

Но разве не она восседает в центре этого преступного мироздания и разве не падает на нее кровавая тень величественного султана, на ложе которого она прорастала, будто молодая беззаботная трава?

Хотела бы в тот же день, в ту же ночь, не дожидаясь утра, привести сюда художника, схватить его за руку, притянуть к этой стене со следами убийства, крикнуть: «На крови нарисуй султана Сулеймана, нарисуй его на крови! Моей, моих детей и моего народа!»

Но встретила художника на следующий день сдержанно, в величавом спокойствии, вся униженная драгоценностями, окруженная прислугой, евнухами, толпившимися в тесных покоях Фатиха.

Художник оказался человеком старым, утомленным и каким-то словно бы даже равнодушным, не присутствующим при деяниях мира сего. Никакого любопытства ни в глазах, ни в голосе, ни во всем виде. Быть может, весь уже воплотился в свои картины и ничего не оставил для себя?

Роксолана, смело идя на преступное нарушение обычая, приоткрыла тонкий яшмак, чтобы показать венецианцу лицо. Но и это не подействовало на художника, не нарушило его спокойствия. Тогда она, снова опустив на лицо яшмак, сказала почти со злорадством:

– Я не видела ваших картин. Ничего не видела. Не слышала также вашего имени, хотя мне и говорили, что вы довольно известный художник. Но наша вера запрещает изображать живые существа, поэтому ваша слава в этой земле не существует.

Он спокойно выслушал эти жестоко-презрительные слова. Казалось, ничто его не тронуло и не удивило, даже то, что султанша свободно владела его родным языком.

Роксолана слишком поздно поняла, что допустила ошибку. Если хочешь унижить достоинство художника, не обращай к нему на его родном языке. Она должна была бы обратиться к венецианцу по-турецки, прибегая к услугам драгомана-евнуха. Но теперь поздно об этом говорить. Да и нужно ли было вообще унижать этого человека? Потом присмотрелась к его глазам и увидела: то, что казалось равнодушием, на самом деле было мудростью и глубоко скрытым страданием. Может, только художники острее всего ощущают несовершенство мира и потому больше всех страдают?

– Я сказала вам неправду, – внезапно промолвила Роксолана, – я знаю о вас много, хотя и не видела ваших картин, ибо мир, в котором я живу, не может ни понять, ни воспринять их. Более всего заинтересовало меня ваше знаменитое «Вознесение». Почему-то представляется оно мне все в золотом сиянии, и Мария возносится на небо в золотой радости.

– К сожалению, радости всегда сопутствует печаль, – заметил художник.

– Это я знаю. В церкви моего отца иконы «Вознесение» и «Страсти» висели рядом. Тогда я еще была слишком мала, чтобы понять неминуемость этого сочетания.

– Шесть лет тому назад умерла моя любимая жена Чечилия, – неожиданно сказал художник. – И теперь я не могу успокоить свое старое сердце. Рисовал дождей, пап, императоров, святых, работал тяжело, ожесточенно, искал спасения и утешения, искал того, что превосходит все страсти, искал вечное.

– А что вечное? Душа? Мысль?

– Это субстанции неуловимые. Я привык видеть все воплощенным. Вечным все становится лишь тогда, когда одевается в красоту.

– А бог? – почти испуганно спросила Роксолана. И тихо добавила: – А дьявол?

– Ни боги, ни дьяволы не вечны, вечен только человек на земле, хотя он и смертен, – спокойно промолвил художник. Сказал без страха, так, будто провидел сквозь годы и знал, что переживет всех: несколько венецианских дождей и римских пап, императора Карла и четырех французских королей, пятерых турецких султанов и эту молодую, похожую на тоненькую девушку султаншу, потому что сам умрет только в день своего столетнего юбилея, оставив после себя множество бессмертных творений.

– Ваши слова противоречивы. Как может быть вечным то, что умирает?

– Умирает человек, но живет красота. Красота природы. Красота женщины. Красота творения. Если от меня останется для потомков хотя бы один удар кисти о полотно, то будет он посвящен женской красоте.

Впервые за все время их беседы загорелся взгляд у старого человека, и огонь его глаз был таким, что обжигал всю душу Роксоланы.

– Но сюда вы прибыли, чтобы нарисовать султана.

– И султаншу, – улыбнулся художник.

– Я еще не думала над этим. Моя вечность не во мне, а в моих детях.

– Я буду просить разрешения написать также вашу дочь.

– Только Михримах? А сыновей?

Художник не ответил. Снова спрятался за спокойное равнодушие. Роксолане почему-то захотелось поверить в это спокойствие. Может, в самом деле этот человек подарит величие и вечность хотя бы на то время, пока будет присутствовать здесь и рисовать султана, ее и маленькую Михримах.

Венецианец писал портрет Сулеймана в Тронном зале. Султан позировал художнику весь в золоте, на фоне тяжелых бархатных занавесей, а Роксолане хотелось бы затолкать Сулеймана в небольшую комнатку, разрисованную холодной рукой Беллини, который смотрел бы на мир словно сквозь светлые волны Адриатики, и поставить у стены, забрызганной кровью. «На крови нарисуйте его! – снова хотелось крикнуть Роксолане. – На крови! Моей, и моих детей, и моего народа!»

И венецианец, будто услышал этот безмолвный крик загадочно мудрой султанши, писал султана не в золотой чешуе, как это делал исламский миниатюрист, которого посадили рядом с неверным, чтобы не допустить осквернения особы падишаха джавуром, а в страшном полыхании крови: тонкий шелковый кафтан, бархатная безрукавка, острый рог колпака – все кроваво-красное, и отблески этого зловещего цвета ложились на острое лицо султана, на правую руку, державшую парчовый платок, на высокий белый тюрбан, даже на ряд золотых пуговиц на кафтане. Фигура султана четко вырисовывалась на темно-зеленом фоне тяжелых занавесей, она стояла как бы отдельно, в стороне от этого фона, вся в багровых отблесках, хищная и острая, как исламский меч. И Сулейман был весьма доволен работой художника.

Творение портрета султана принадлежало к торжественным государственным актам, поэтому в Тронном зале в течение всего времени, которое нужно было венецианцу для его

работы, присутствовали Роксолана, новый великий визирь, безмолвный Аяз-паша, члены дивана, вельможи, челядь – нишанджии, хавашаи, чухраи и дильсизы.

Когда же художник приступил к портрету султанши, то за его спиной не торчал даже кизляр-ага, лишь непрерывно слонялись евнухи, то принося что-то, то унося, так что порой Роксолане хотелось кшикнуть на них, как на кур, отгоняя будто мух, назойливых и настырных. Знала, что это напрасно. Евнухи всегда триумфуют. Жестоко окромсанные сами, они немилосердно и безудержно кромсают и чужую жизнь.

Словно бы понимая душевное состояние султанши, художник набросал на полотне очертание ее лица. Несколько едва заметных прикосновений угольком к туго натянутому холсту – и уже проглянуло с белого поля капризное личико, выпячивая вперед дерзкий подбородок, одаривая мир неуловимо-таинственной улыбкой, в которой обещание и угроза, хвала и проклятие, и не знаешь, радоваться ему или бояться его.

Этот рисунок стал словно бы свидетельством какого-то единения между ними. Он объединял их, хотя и неизвестно в чем. Еще не осознавали они этого, но чувствовали, что этот рисунок навсегда соединяет молодую всевластную женщину и стареющего художника с глазами, полными сосредоточенности и скрытой грусти.

Султан изъявил желание, чтобы Роксолана оделась в подаренное им после Родоса платье и украсила себя всеми драгоценностями. Быть может, он подсознательно почувствовал, что венецианец нарисовал его не в ореоле огней славы и побед, а в тяжелом полыхании крови, и теперь хотел отомстить художнику, заставив его изображать не живую султаншу, а ее драгоценности, сверкание бриллиантов, сочность рубинов, зеленоватую грусть изумрудов и розовую белизну жемчугов? Он и дочь Михримах тоже велел украсить драгоценностями так, что они сплошь затмили ее нежное личико. Чрезмерное богатство или бессмысленная прихоть восточного деспота? Но художник был слишком опытным, чтобы растеряться. Гений, как истина, сильнее деспотов. Художник пробился сквозь все драгоценности, обрел за ними лицо Роксоланы, проник в его тайны, раскрыл в нем глубоко затаенное страдание, горечь, боль и показал все в ее улыбке, в розовом оттенке щек, в трепете прозрачных ноздрей, в упрямом подбородке. В этом маленьком лице можно было прочесть жестокую беспощадность нынешних времен, стыдливую нерешительность будущего, горькую боль по навеки утраченному прошлому, которое не вернется никогда-никогда и потому так болезненно и так прекрасно! Поэт бы сказал: «Художник бровь нарисовал и замер...»

Так и придет Роксолана к далеким потомкам со своей горькой улыбкой, но не с картины прославленного венецианца, существование которой засвидетельствует в своих «Жизнеописаниях» лишь Вазари, а с гравюры неизвестного художника, который сделал ее с той картины. Портрет Михримах затеряется навеки, а портрет Сулеймана окажется в Будапештской национальной портретной галерее под инвентарным номером 438, точно султан уже после смерти возжаждал получить прибежище на той земле, которой причинил при жизни так много зла.

Барабаны

Султан снова был вдали от Роксоланы со своими дикими вояками, ошалелыми конями, смердящими верблюдами, с барабанами и знаменами.

Грохот барабанов заглушал живые голоса. Грохот холодный и мертвый, как железо. Трескучее эхо от красных султанских барабанов стояло над миром, оно впитывалось в землю, входило в ее могучее тело навсегда, навеки, чтобы снова и снова подыматься, рассеяться горьким туманом невинно пролитой крови, красной мглой пожаров, метанием зловещих теней убийц и захватчиков. В человека этот звук не проникал никогда, человеческим тоже не становился никогда – удары извне, истязания, истязания без надежды на спасение.

А барабаны, быть может, единственные в том мире чувствовали себя счастливыми. Бесстрашно и бодро бросали они призывы людям и векам, не зная ни старения, ни усталости. Они гремели в темноте и при солнце безжалостно, никого не жалея, никого не страшась, шли навстречу смерти.

Умереть, побеждая! Вперед! Вперед! Вперед!

Геройством можно превзойти все на свете. Это и есть наивысший пример не щадить себя. Чувство самозащиты чуждо и враждебно мне. Ибо я только барабан. Бей меня безжалостно, бей изо всех сил, бей яростно! Чем сильнее бьешь меня, тем больше я живу. Что должно погибнуть, уже погибло, и я родился из смерти животного, с которого содрали шкуру, чтобы я стал духом бесстрашия и храбрости. Возвещаю чью-то смерть, множество смертей, мой темный голос не знает жалости, ему чужды сомнения, торжественно и зловеще, понуро и страшно пусть звучит мой голос, гремит и гремит моя душа!

Роксолане хотелось кричать со стамбульских холмов в те дальние дали, куда снова пошел султан, на этот раз взяв с собой сыновей – Мехмеда и Селима: «Не верьте барабанам и знаменам! Не слушайте их мертвый голос! Их призыв – это кровь и пожары!»

Султан пошел через Эдирне и Скопле до самого побережья Адриатического моря, чтобы напугать Венецию. Как ни медленно распространялись тогда вести, но страшная весть об убийстве Луиджи Грити все же дошла наконец до венецианского дожа Андреа Грити. Тот тут же отозвал из Стамбула своего художника, не дав ему возможности написать сыновей султана, а теперь из чувства мести к Сулейману намеревался присоединиться к Священной лиге, возглавляемой императором Карлом, самым яростным врагом турецкого падишаха. Младших сыновей, Баязида и Джихангира, Роксолана непустила в поход. Сменила воспитателя Баязида – сделала им Гасан-агу. Может, не без тайной мысли о том, чтобы хоть один из ее сыновей перенял что-то дорогое ее сердцу, ибо заметила, что прислушивался он больше к ее песням, чем к султанским барабанам. Да и были ли эти барабаны только султанскими? Еще недавно они хмуро молчали при появлении Роксоланы, но когда она вознеслась над гаремом и родила Сулейману четверых сыновей, встречали ее боем, хотя и тогда барабанщики – дюмбекчи – упрямо держали колотушки лишь в левой руке, словно подчеркивая непрочность положения султанши, иллюзорность ее власти. Теперь, когда она стала всемогущей и единственной, без соперников и врагов, дюмбекчи и тамбурджи били в барабаны обеими руками, толпы стамбульцев ревели от восторга, увидев раззолоченную карету Роксоланы, запряженную белыми могучими золоторогими волами. Так чьи же ныне барабаны, неужели только султана, а не ее тоже?

И должны ли прислушиваться к этим барабанам ее дети?

Пятерица

Одиночества еще не было, оно лишь маячило на горизонтах снов, еще только угрожающе, по-тигриному, подкрадывалось к молодой женщине, то и дело хищно ощериваясь, когда отбирали у Роксоланы сыновей и передавали их воспитателям, которых назначал сам султан. На первых порах не знала она одиночества даже во время затяжных походов Сулеймана, не замечала их за хлопотами и детьми. Но дети росли, постепенно отходя от нее все дальше и дальше, как отдаляются ветви от ствола, и тогда она поняла, что не может воспрепятствовать этому отчуждению, как не могла бы, скажем, насильственно остановить рост деревьев. Ведь и деревьям тоже больно... Видела, как в садах Топкапы садовники-евнухи подстригали кусты и деревья, как возились в зеленом кипении, неуклюжие и неповоротливые, будто старые огромные птицы, лязгали безжалостным железом с равнодушным наслаждением (какое непостижимое сопоставление!), с мрачной радостью оттого, что если и не лишают жизни вовсе, то уж укорачивают ее где только возможно. Подстригают ли деревья в райских садах? И есть ли на самом деле где-нибудь рай? Если нет его, то нужно выдумать, иначе не вынесешь тяжести этой проклятой жизни. Но если будет рай, то совершенно необходим и ад. Для сравнения. И для спора. Ибо все на свете имеет свою противоположность. Если есть повелители, должны быть и подчиненные. Рядом с властелинами должны жить бедняки. А она была и повелительницей, и страждущей одновременно. Ибо чем она завладела безраздельно и уверенно? Разве что невольей и этими садами над Босфором, окруженными непробиваемыми стенами, охраняемыми бессонными бостанджиями.

Султан снова был в походе, а она томила в садах гарема, в глазах у нее залегла тяжкая тоска бездомности, жило в них отчаяние человека, брошенного на безлюдный остров. Но кто же мог заглянуть в эти глаза? Покорные служанки улавливали трепет ресниц, поднятие брови, движение уголков губ – все как когда-то у всемогущей Махидевран, все произошло, как мечталось когда-то маленькой рабыне Хуррем, все желания сбылись, даже самые дерзкие. Но стала ли она счастливее и свободнее?

Птицы трепетали на ветвях и перелетали в воздухе пестрыми лоскутами, легкие и нежные мотыльки, как муслиновые платочки, выпущенные из небрежных рук падишаха, тешили глаз повелительницы, красные букашки суетились, будто султанское войско перед вражеской крепостью, ящерицы грелись на солнце, извиваясь подобно молодым джари – одалискам, – для нее это все или для евнухов? Ведь всюду, куда ни глянь, евнухи, евнухи, евнухи: поправляют стены, подстригают деревья, чистят чешмы², посыпают песком дорожки, срезают розы. Пока дети были маленькими, Роксолане казалось, что вокруг в самом деле райские сады – ведь их красота приносила столько радости этим нежным и беззащитным существам. Но дети росли и обгоняли свою мать, покидали ее в этих садах, а сами рвались на простор, тянулись к небесам, к этим чужим для нее, но родным для них османским небесам. В самом ли деле небо разделено между державами, как и земля, и есть небо родное, а есть чужое? И каждое государство имеет свое солнце, свою луну, свои звезды, облака, дожди, туманы и ветры? Дети отгораживали ее от прошлого навсегда, навеки, и уже никогда не вернется она домой, не сможет проникнуть туда даже ее неугасимая любовь к маме и сочувствие к отцу, ничто, ничто, останется она распятой между печалью и отчаянием, между сутью и проявлением, между вечностью и повседневностью. Когда беспомощной рабыней попала она в страшный гарем, были у нее тогда беспредельные запасы мужества, но не владела силой. Теперь была у нее сила, но мужество отобрали дети. Дрожала за них почти по-звериному, прикрывала собой, своим будущим, своей жизнью, пожертвовала для них душу, поменяла богов – одного отдала и забыла, другого взяла, пытаюсь

² Ч е ш м а – источник, фонтан.

сделать своим (но сделала ли и сделает ли?), – и все ради детей. Дети рождались, и первое, что они видели, – это небо и море. Земля приходила к ним погодя, и была она безграничной. А жизнь? Бесконечна ли и она для них?

А какие же дети! Сыновья стройные, как кипарисы. Михримах в двенадцать лет ростом такая, как ее мать. Самый старший – Мехмед – почти султан, перенял от своего отца всю величавость, всю властность, всю надменность, так будто уже с колыбели готовился к власти. К власти или к смерти? Пока жив Мустафа, самый старший сын Сулеймана, сын хищной черкешенки, над сыновьями Роксоланы нависает угроза истребления. Султаном становится самый старший, а все младшие... От жестокого закона Фатиха не было спасения. Может, и дети чувствовали это уже чуть ли не с колыбели, и детство их заканчивалось в комнате их матери, ибо как только они переходили к своим воспитателям, становились как бы маленькими султанами, обучались торжественным жестам, величественной походке и словам, кичливости и высокомерию. Не знали настоящего детства, детских игр, друзей. Не могли поиграть в прятки, в херле-терле с деревянной палочкой, в длинного осла – узун ешек, не знали шуточных присказок «калач-малач», «кишмиш-мишмиш», «чатал-матал». Все вокруг них были только подданными и слугами, поэтому маленький Селим никак не мог поверить, что у него, как у обычного, простого мальчика, десять пальцев на руках, а для Мехмеда его воспитатель Шемси-эфенди нанимал за одну акча бедных мальчиков, чтобы султанский сын бил их, воспитывая в себе силу, мужество, ненависть к врагу. Для матери все они были неодинаковы, как и в годы их рождений. У Мехмеда после рождения на лобике появились волосы, приметы указывали, что будет с норовом, как конь, и будет придирчив к людям. У Селима были желтоватые глаза – должен быть хитрым, как шайтан. У Баязида родинка над пупком указывала на большое будущее мальчика. Джихангир родился крупноголовым, что говорило об уме. Михримах смеялась во сне, – очевидно, видела себя в раю, а Баязид по ночам плакал, может, видя кого-то из близких в аду.

Пятеро детей. Шестого, Абдаллаха, взяли к себе высшие силы сразу же после рождения, может, именно для того, чтобы утвердилось великое число пять: Мехмед, Селим, Баязид, Джихангир, Михримах. Пятеро детей, как пять сил, направляющих человеческую жизнь: властелин и народ, то есть власть и покорность; отец и сын – то есть отцы и дети; муж и жена – то есть мужчина и женщина; старшие и младшие братья – то есть поколения людские; наконец, друзья – то есть люди как таковые. В числе пять наиболее полно воплощена идея цельности как высшего проявления разнородности. Все распадается на части, но над ним слияние рек и морей – человеческая жизнь, единая и неповторимая.

Но видела она, что ее дети растут без друзей, и ничего не могла поделать. Замечала, что нет между ними братской любви, есть только соперничество и вражда, в конце которой маячила насильственная смерть, и не могла предотвратить этого. Ведь и сама она жила в этом ненадежном мире, где все было призрачным, таинственным и угрожающим: пышная торжественность, упорные моления, роскошь, золото, Коран, крики муэдзинов, грохот орудий, вопли янычар, страх, звон цепей, рев зверей, шепоты, суета и топот евнухов, загадочные слова, подслушивания, поклепы, затаенная вражда, предательство и насилие, насилие. Не потому ли у великого Навои первая поэма из его «Пятерицы» называется «Смятение праведных», в ней есть слова: «О ты, чью руку укрепляет власть, ведь путь твой ведет к насилию, насилие твое над людьми не уменьшается, но ты творишь его и над самим собою». Как это горько и как справедливо...

Пять, десять, пятнадцать лет жизни в гареме. Боролась за себя, затем думала только о маленьких своих детях, дни и ночи съедались бессонницей и хлопотами, ее время уничтожалось без остатка, теперь наконец могла оглянуться, распрямиться, вздохнуть свободнее, подумать о будущем своем и своих детей, снова появилось у нее время для совершенствования своего разума, время для книг, может, и для властвования. Появилось время? Ее удивлению не

было пределов, когда обнаружила, что теперь времени еще меньше, чем тогда, когда заботилась о маленьких детях. Тогда события поторапливали, ветры подгоняли, какие-то незримые силы толкали вперед и вперед, и словно бы сами дьяволы подхлестывали тебя, решив во что бы то ни стало либо покончить с тобой, либо стать свидетелями твоего вознесения над душами низкими и ничтожными. Наверное, время обладает способностью уплотняться в самые напряженные периоды твоей жизни, когда же наступает расслабление, тогда невидимая пружина (а может, рука бога, – только ж какого бога?), которая с умной жестокостью сжимала все – и время, и события, и всю жизнь, – тоже расслабляется, и уже ветры не дуют, не поторапливают события, унимаются даже дьяволы непокая, наступает тишина, ленивая разнеженность, ничемность, чуть ли не угасание. А поэтому для настоящего человека спасение только в напряжении, в вечном неудовлетворении достигнутым и сделанным.

Пятнадцать лет отдала своим детям, а чего достигла, чего добились для них? Страх и неопределенность сопровождали рождение каждого из них, страх и неопределенность и далее нависали над ними. Пока над сыновьями Роксоланы возвышался их старший брат от черкешенки Мустафа, у Роксоланы не могло быть покоя. «В степу брестиму, як голубка густиму».

Султан не выражал своей воли. Держал всех сыновей в столице, не посылал никого в провинции на самостоятельное управление, не называл своего наследника, хотя от него ждали этого решения каждый день и каждый час. Ждала валиде, ждал великий муфтий, ждали янычары, ждали визири, ждала вся империя, и прежде всего ждали две жены: бывшая любимица Махидевран, отброшенная в неизвестность и унижение, и нынешняя властительница Хасеки, которая завладела сердцем Сулеймана, но отчетливо видела свое полнейшее бессилие перед жестокой судьбой. Что принесет судьба ее детям?

Перед смертью валиде вырвала у Сулеймана обещание послать своего старшего сына в Манису, в ту самую провинцию Сарухан, куда когда-то его самого посылал его отец, султан Селим, который был хотя и жестоким, но, как известно, справедливым, ибо оставил для своего сына трон. Маниса с тех пор стала первой ступенькой к трону для будущего падишаха. Провинция Сарухан не подчинялась анатолийскому беглербегу, она считалась как бы частицей султанского двора до тех пор, пока не сядет в ней будущий преемник высочайшей власти.

Сулейман пообещал матери послать Мустафу в Манису, но не успел выполнить свое обещание, валиде умерла, Мустафа сидел в Стамбуле, а Роксолана молила всех богов, чтобы султан изменил свое решение, но вмешался великий муфтий Кемаль-паша-заде, уже на смертном одре добился того, чтобы султан поклялся на Коране выполнить свой обет перед покойной матерью. И наконец свершилось: Мустафа со своими янычарами, с небольшим гаремом, с матерью, которая уже, наверное, предвкушала, как она станет когда-нибудь всемогущей валиде, торжественно выехал из Стамбула, чтобы сесть в Манисе, откуда его отец когда-то отправлялся к Золотому султанскому трону, таков обычай: откуда Османы пришли, туда и посылают своих наследников, чтобы они снова приходили только оттуда. Сорок тысяч дукатов годового дохода, самостоятельность и надежда получить престол вот что вывозил из Стамбула Мустафа, роскошный и чванливый, как его мать, длинношей и солидный, как его великий отец. Если бы это произошло еще при жизни валиде, неизвестно, что было бы с Роксоланой, как перенесла бы это она и пережила, несмотря на всю ее твердость. Но теперь над Сулейманом не тяготела непостижимая власть султанской матери, он был свободен в поступках, мог позволить себе все, что может позволить правитель, вот и повел он свою Хуррем Хасеки к стамбульскому кадию в Айя-Софию и торжественно провозгласил ее своей законной женой. Старшего сына Роксоланы Мехмеда почти одновременно с Мустафой послали наместником султана в Эдирне, что не могло, разумеется, равняться с самостоятельным правлением в Манисе, но в то же время не лишало Мехмеда больших надежд, в особенности если учесть, что султан так до сих пор еще и не назвал своего преемника. Выжидал ли, который из сыновей окажется более ловким и смелым? Ведь только такие пробиваются к власти. Но как бы там ни было, Роксолана лишь

теперь поняла, что самые большие ее страхи и терзания только начинаются. Смогла бы успокоиться лишь только тогда, когда бы ее первенец, ее любимец, ее Мемиш, принесший когда-то ей освобождение из рабства, спокойно сел в Манисе вместо Мустафы, пусть и не названный преемником трона, пусть и не возвеличенный перед всей империей, но все равно в надежде на возвеличение, ибо только из того далекого и загадочного города, в котором никогда не была, почему-то ждала счастья для себя и для своего сына. Но в Манисе в то время сидел Мустафа, а чтобы сместить его, нужна целая вечность, потому что в этом огромном государстве все делалось вопреки здравому смыслу: то, что нужно сделать немедленно, растягивалось на неопределенное время, а то, что могло быть даже преступным, исполнялось немедленно.

Пятерых детей родила она Сулейману. Пятерица. Будто пять внешних чувств человеческих: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание; будто пять чувств душевных: радость, гнев, желание, страх, горе; будто пять предназначений государства: законодательство, исполнение, суд, воспитание, проверка.

А будет ли счастье у ее детей? И была бы она счастливее, если бы родила султану десять или даже пятнадцать детей – по ребенку каждый год? Так, рассказывают, в Адильджеваге одна курдянка родила одновременно сорок детей – двадцать мальчиков и двадцать девочек, султан даже велел внести это выдуманное событие в летопись своего царства. Но если бы даже такое могло быть правдой, то разве счастье зависит от количества?

Снова и снова возникал перед глазами Роксоланы пик той вершины в Родопах, на который они взбирались с султаном и на котором не оказалось места для двоих.

Лишь теперь извела Роксолана, что такое настоящее отчаяние. Ей не с кем было посоветоваться, не знала, у кого просить помощи. Пока была маленькой рабыней в гареме, ей могли и сочувствовать, теперь – разве что ненавидеть. Достигнув наивысшей власти, увидела, что достигла лишь вершины бессилия. Предназначение человека на земле – дать продолжение своему роду. Все остальное суета и выдумки. А она только того и достигла, что поставила своих детей под смертельную угрозу, и чем выше поднималась, тем большей была угроза для ее детей, ибо на этих высотах оставалась только власть, а власть не знает жалости.

Роксолана пришла в ужас, узнав о том, что Сулейман чуть было не погиб в походе. В Валоне, на берегу моря, куда пришел султан со своим войском (а шел туда лишь для того, чтобы испытать достоинства сераскера – своего нового зятя Лютфи-паши – мужа ненавистной Хатиджи), ночью в османский лагерь проник сербский гайдук Дамян, который хотел убить султана в его шатре. Гайдука выдал треск сухой ветки, на которую он неосторожно наступил. Серб изрубил янычары, султан уцелел, уцелела и Роксолана со своими детьми, в противном случае Мустафа первым прискакал бы из Манисы в Стамбул, сел бы на трон, и тогда – закон Фатиха, и месть осатаневшей черкешенки, и ее торжество. А какая женщина вынесет торжество соперницы? Уж лучше смерть!

Роксолана поскорее написала Сулейману полную отчаяния газель, которую хотела бы послать уже и не с гонцом, а с перелетными птицами, как Меджнун к своей возлюбленной Лейли:

Как трудно верить, что ко мне вернешься ты. Спасенья!
Дождусь ли я, чтоб голос твой услышать вновь? Спасенья!
Ища тебя, идя к тебе, я одолеть смогла бы
И даль глухих степных дорог, и черствость душ. Спасенья!
Миры немые страшно так в мой сон тревожный рвутся,
И, просыпаясь, я кричу в отчаянье: «Спасенья!»
Никто мне в дверь не постучит, лишь ветер зорькой ранней,
И стоном горестным к тебе взываю я: «Спасенья!»
Когда ж ревнивица-война тебя ко мне отпустит,

Прекрасного, как мир, как свет и тень? Спасенья!
Иль терпеливою мне стать, и твердою, как камень,
Или корой дерев сухих, бесчувственных? Спасенья!
Нет сил у Хасеки звать, и призывать, и плакать,
И ждать, отчаявшись, тебя, о, мой султан, – Спасенья!³

Страх не за себя, а за детей своих водил ее рукою, когда ночью слагала эту газель для султана. Любила или ненавидела этого человека – не знала и сама, но молила всех богов, чтобы дарили ему жизнь, чтобы он был живой, и не столько для нее, сколько для ее детей.

Истинно: «Знайте, что ваши богатства и ваши дети – испытание...»

³ Перевод Ю.Саенко.

Столпы

Здания держатся на столпах, царство – на верных людях. У Османов никто не знал, кто кем будет, какая высокая (или, наоборот, никчемная) судьба его ждет, – и в этом была вся заманчивость жизни, ее открытость и доступность. Возможно, и это государство стало таким могучим из-за неведения людьми своего назначения. Ибо у каждого неограниченные возможности, каждый мог дойти даже до звания великого визиря, лишь бы только сумел первым крикнуть: «Велик аллах!», первым взмахнуть саблей и оказаться на стене вражеской крепости. Надежда и отчаяние, наслаждение успехом и предчувствие катастрофы, голос здравого смысла и почти дикое неистовство страстей, трезвый ум и фантастические капризы судьбы – все это, казалось, было незнакомым и чуждым османцам, которые жили только войной, не зная никаких отклонений, ни единого шага за ее пределы, будто имели шоры уже не только на глазах, но и в сознании. О войне вспоминали, жили ею, она наполняла все их существование и мысли, разговоры, сны и бессонницу. Знали, что для войны прежде всего необходима неудержимость, отчаянная, безрассудная храбрость. И каждый раз проявляли ее с таким исступлением, что могло показаться, будто это уже и не человеческое мужество, а звериное безрассудство.

Но при этом знали, что всегда над ними стоит султан и все видит и по достоинству вознаградит храбрых, поставив самых отчаянных на место ленивых, ибо всех можно заменить, кроме самого себя. К власти пробирались не умелые и опытные, и даже не богатые, а смелые, ловкие и дерзкие.

После Ибрагима великим визирем был назван арбанас Аяз-паша, человек, который не мог связать двух слов, зато в битвах был всегда первым, громче всех выкрикивал «Аллах великий!», а саблей мог перерубить надвое коня со всадником на нем и самую толстую пуховую перину. Этот человек состоял, собственно, из одного лишь туловища. Это впечатление усиливалось оттого, что Аяз-паша носил широкие шаровары, в которых полностью утопали его коротенькие ножки. В мощном, как каменный столб, туловище Аяз-паши было столько звериной силы, что он растрачивал ее на все стороны с неутомимостью просто зловещей: в походах не слезал с коня, в битвах не знал передышки, в диване мог заседать месяцами, так, будто не ел, не спал; гарем у него был самый большой в империи, и детей от наложниц и жен насчитывалось у него свыше сотни. Став великим визирем, он попросился на прием к султанше, и она милостиво приняла его в новом кёшке Гюльхане на белых коврах, усадила великого визиря напротив себя, велела принести даже вина. Сев, Аяз-паша почти не уменьшился, торчал перед ней столбом, тупо смотрел на нее, что-то говорил, но что именно, Роксолана не могла понять.

Она сказала Аяз-паше что-то ласковое, попросила его говорить спокойнее, но он забормотал еще неразборчивее, и тогда султанша велела слугам принести письменные принадлежности для великого визиря. Пусть он напишет все, что хотел сказать, чтобы она могла прочесть, и не одна, а с его величеством падишахом, да продлит аллах его тень на земле.

Арбанас схватил перо и, разбрызгивая голубые чернила, прорывая дорожную шелковую бумагу, стал царапать свои каракули так же быстро, как говорил, и когда протянул лист султанше, то она не увидела там ни букв, ни письма, а одни лишь извилистые гадючки, которые ползли наискось по бумаге, цеплялись одна за другую, стараясь проглотить одна другую или хотя бы откусить хвост.

– Хорошо, – улыбнулась Роксолана растерянному Аяз-паше, – мы прочтем это с его величеством. Как сказано: «Аллах дает знать человеку через писчий тростник то, чего он не знал».

Когда она рассказывала Сулейману о великом визире и показала его мазню, султан сказал:

– Я знаю о нем все. Может, именно такой человек и нужен для царства. Он и на самом деле дурак, зато верный и неподкупный. А сказать тебе хотел, что именно он с великим драгоманом Юнус-бегом свалил Ибрагима, разоблачив его подлое нутро.

– Разве это не вы, мой повелитель, без чьей-либо помощи вовремя раскрыли преступные намерения Ибрагима?

– На меня нашло ослепление. Но мне открыли глаза.

– Вы просто слишком долго терпели подле своей справедливой и светлой особы этого темного человека, напоминавшего фракийского царя Диомеда, который кормил коней человеческим мясом. У Аяз-паши нет никаких особых заслуг. Разве можно в государстве, где много умных людей, допускать, чтобы великими визирями становились негодяи или глупцы?

– А как найти умных, как? – понуро спросил султан.

Старого Касим-пашу султан все же отпустил на отдых, а вторым визирем взял румелийского беглербега Лютфи-пашу, которого женил на сестре Хатидже, чтобы не печалилась по Ибрагиму. Лютфи-паша, в противовес Аяз-паше, был человеком знающим, это был воин и дипломат, обладал безудержным нравом как в битвах, так и в пороках, любил мальчиков, ненавидел женщин, когда впоследствии стал великим визирем (Аяз-паша умер от мора), велел вылавливать в Стамбуле неверных жен и вырезать им бритвой то, о чем стыдно и говорить. Хатиджа назвала мужа бесстыдником, и он избил ее. Узнав об этом, султан нагим посадил Лютфи-пашу на осла и велел вывезти за ворота Стамбула. Много лет проведет он в изгнании в приморском городе Димотике и напишет там Османскую историю и «Асафнаме» – книгу о должности великого визиря.

Место Лютфи-паши займет евнух Сулейман-паша, которого султан вызовет из Египта. Сулейману-паше к тому времени было уже восемьдесят лет, был он мал ростом, но отличался большой храбростью и еще большей тучностью. Был таким толстым, что самостоятельно не мог встать с постели – его снимали четверо слуг. Сулейман-паша был лют, как все евнухи, с его появлением в диване все забурлило и заклокотало, как в котле с шурпой, евнух покрикивал на всех визирей и чуть ли не на самого султана. А султан лишь загадочно улыбался, слушая перебранку в диване. Визирь дополняли в нем то, чего он был лишен от природы. Считал, что наделен только всем высоким, а лишен низкого. Был главой царства, которая всегда в небесах и в облаках. Визирь же должны быть ногами, которые глубоко погрязли в повседневности. Было уже когда-то, когда одного из них попытался поднять до своей высоты, а что из этого получилось? Ибрагим замахнулся на самую высшую власть, и его пришлось убрать. Ибрагиму боялись перечить, поэтому все дела решались иногда с излишней торопливостью, отчего постепенно исчезало необходимое спокойствие в государстве и над всем нависала какая-то непостижимая угроза. Ибрагим набрался наглости говорить и писать: «Я сказал», «Я решил», «Я считаю», тогда как такое право имел только султан, ибо лишь он один является личностью, все остальные безликая толпа, подчиненные, подданные, рабы. Никто не имеет права говорить: «Я думаю», «Я требую», «Я прошу», «Мне нужно». Можно говорить: «Есть мнение», «Мы просим», «Нужно». Только тогда человек может быть спокойным, потому что никто не обвинит его в случае неудачи. Виновны будут все, следовательно, никто. Также никогда не нужно торопиться с решениями, и чем больше грызутся в диване визирь, тем лучше для империи, ибо все в конце концов должно зависеть от султана. Решительность нужна лишь при штурме вражеских крепостей и могильщикам, которые должны точно знать, где рыть ваши могилы, ибо у могильщиков и у тех, кто проливает кровь, единый покровитель – Каин, который, как известно, без колебаний убил родного брата.

Из жизни была устранена какая бы то ни было возможность личного существования. Империя – это Топкапы, и Топкапы – это империя, а над ними султан с неограниченной властью, которая исключала даже мысль о частной жизни подданных. Никто не принадлежал себе ни в постели, ни в могиле. Султанский диван не составлял исключения, потому что визирь

были подняты лишь над простым народом, а не над султаном, были столпами, на которых держался Золотой трон падишаха, мертвым деревом, мертвым камнем. Вот и все. Лениость, тупость и страх наполняли души визирей, и они трепетали перед султаном. Но ведь мог же султан взять себе и умного помощника, чтобы еще больше напугать глупцов?

Никто этого не знал.

Руины

Султан снова перемеривал просторы со своим гигантским войском, наполнял недра небес грохотом барабанов, славы и власти, величием своим, повергал в ужас врагов и самого Марса. Он брал просторы, как женщину, он насиловал их, весь мир вокруг него должен был служить лишь орудием кары или наслаждений. Женщины не составляли исключения: «Дай нам от наших жен и потомства прохладу глаз...»

Маленькая Хуррем была такой сильной личностью, что он поневоле вынужден был признать существование рядом с собой еще кого-то. Первым желанием было – устранить, уничтожить. После первой ночи, проведенной с маленькой рабыней, попытался не думать о ней, забыть, но с ужасом, а затем и со сладким удовольствием убедился в тщетности своих усилий, пронеся голос удивительной девушки по безбрежным просторам славянских земель, которые отныне должны были стать османскими. Теперь уже не был единственным и одиноким на этом свете, где все должно было служить лишь удовлетворению его прихотей, желаний и надежд. Был еще человек, – это потрясло, удивило, вызвало раздражение, а потом наступила какая-то расслабленность и даже растроганность, так, будто отныне он тоже принадлежал не к заоблачным небожителям, а к обыкновенным людям. Люди еще не рождаются настоящими людьми, ими они могут или не могут стать. Это великая наука, постичь которую удается далеко не всем. Если бы кто-нибудь сказал Сулейману, что эта женщина переменила его, хотя бы в мелочах, султан лишь мрачно улыбнулся бы. Изменять мир и людей мог только он, сам упрямо оставаясь в своей высокой неприступности. В его крови жил голос сельджуков, извечных кочевников, которые со своими отарами и табунами прошли полмира, и этот голос, голос крови, гнал его дальше и дальше, и он не мог усидеть даже в своей огромной столице, в своем роскошном дворце, возле жены, ставшей самым дорогим существом на свете, потому что она внесла в его жизнь то, чего он сам не имел, – сердце, душу, страсть и даже – страшно и странно промолвить – любовь. Он, который знал только силу, испытал радость любви, и не того животного чувства, которое замыкается в темных океанах плоти, а неуловимого и незримого, будто сотканного из небесных золотых нитей, навеки привязавших его к этой непостижимой женщине, к ее голосу, к ее глазам, к ее рубиновой улыбке. Когда после покушения на его жизнь получил от Хуррем полную тревоги газель, он написал ей в ответ свою газель, начинавшуюся словами: «Пусть твой рубин от бед меня спасает». Он имел в виду не тот рубин, который носил на своем тюрбане, а рубин ее бессмертной улыбки. Верил, что будет жить, пока живет на ее устах таинственная улыбка. Еще писал своей султанше: «Не дождусь, чтобы увидеть тебя, прекрасную, как божья мудрость».

Но сам был тем временем далеко и возвратился с войском, так ничего и не завоевав, уже поздней осенью, чтобы сразу же объявить новый поход против молдавского господаря Петра Рареша. Куда, зачем? Снова аисты в болотах и войско на дорогах? Чем больше захватывал султан земель, тем больше изнурял государство, так как война всегда стоит дороже, чем предполагаемая добыча от нее. Его слух полнился дурными вестями, которым не было ни счета, ни конца: то засуха, то ливни, то чума, то недород, то падеж скота, то кто-то убит, то кто-то где-то взбунтовался, то восстали племена, то изменил какой-то паша. Но какое до всего этого дело султану, над которым – целое государство! И он снова и снова отправлялся в походы, спасаясь в этих походах от всех мыслимых бед, страдал каждый раз от разлуки с Хуррем, но в то же время испытывал от этого необъяснимое удовольствие, потому что разлуки были подобны горькому дыму от опиума, они опьяняли, одурманивали и каждый раз обещали непостижимую сладость встречи, когда Хуррем шла к нему, играя своей рубиновой улыбкой, а под тонким шелком ее сорочки круглилась грудь, будто два больших теплых голубя. Вот так начинался когда-то мир, и так будет начинаться он вечно!

Роксолана знала, что султан снова и снова будет ходить в походы, ведь он принадлежал не самому себе, а лишь какой-то темной и дикой силе, называвшейся Османским государством, но почему же так быстро он покидает столицу, только что вернувшись из похода? Задержать его она не могла, бессильными были тут все газели, сложенные величайшими поэтами мира, потому спела султану ночью, когда остались вдвоем, свою песню, поймет или не поймет, зато услышит: «Привикайте, чорні очі, сами ночувати: нема ж мого миленького, ні з ким розмовляти. Нема ж мого миленького, рожевого цвіту, ой, нема з ким розмовляти до білого світу».

Он почему-то считал, что ее пение осталось где-то позади, в их первых ночах, к которым теперь не мог пробиться даже памятью. А она неожиданно преобразилась, стала такой же юной, как тогда, когда пела ему и припевала, согревала его взглядом, словами, обещаниями, капризами, нежностью, вздохами, приглушенным голосом. Время было бессильно против нее. Казалось, будто маленькие женщины вовсе не стареют, время и стихия не властны над ними. Маленькая песчинка всегда остается песчинкой, тогда как даже самые высокие горы разрушаются под действием стихий, и чем выше они, тем более тяжкие и ужасающие разрушения на их исполинском теле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.